

Сестры Рондоли / новелла

Category: Heкаýalar, Kitарсу

написано kitарсу | 23 января, 2025

Сестры Рондоли / новелла СЕСТРЫ РОНДОЛИ

Жоржу де Порто-Риш.

I.

– Нет, – сказал Пьер Жувене, – я не знаю Италии; а между тем я дважды пытался туда попасть, но каждый раз застревал на границе, да так прочно, что невозможно было двинуться дальше. И все же эти две попытки оставили во мне чарующее представление о нравах этой прекрасной страны. Мне остается только познакомиться с городами, музеями и шедеврами искусства, которыми полон этот край. При первом же случае я вновь отважусь проникнуть на эту недоступную территорию.

Вам непонятно? Сейчас объясню.

В 1874 году мне захотелось посмотреть Венецию, Флоренцию, Рим и Неаполь. Это стремление овладело мною около середины июня, когда с буйными соками весны вливаются в душу пылкие желания странствий и любви.

Но я не любитель путешествовать. Перемена места, по-моему, бесполезна и утомительна. Ночи в поезде, сон, прерываемый вагонной тряской, вызывающей головную боль и ломоту во всем теле, чувство полной разбитости при пробуждении в этом движущемся ящике, ощущение немытой кожи, летучий сор, засыпающий вам глаза и волосы, угольная вонь, которую все время приходится глотать, мерзкие обеды на сквозняке вокзальных буфетов – все это, по-моему, отвратительное начало для увеселительной поездки.

За этим железнодорожным вступлением нас ожидает уныние гостиницы, большой гостиницы, переполненной людьми и вместе с тем такой пустынной, незнакомая, наводящая тоску комната, подозрительная постель! Своей постелью я дорожу больше всего. Она святая-святых нашей жизни. Ей отдаешь нагим свое усталое

тело, и она возвращает ему силы и покоит его на белоснежных простынях, в тепле пуховых одеял.

В ней обретаем мы сладчайшие часы нашей жизни, часы любви и сна. Постель священна. Мы должны благоговеть перед ней, почитать ее и любить как самое лучшее, самое отрадное, что у нас есть на земле.

В гостинице я не могу приподнять простынь постели без дрожи отвращения. Кто лежал там в предыдущую ночь? Какие нечистоплотные, отвратительные люди спали на этих матрацах? И я думаю о всех тех омерзительных существах, с которыми сталкиваешься каждый день, о гадких горбунах, о прыщавых телах, о грязных руках, не говоря уж о ногах и всем прочем. Я думаю о людях, при встрече с которыми вам ударяет в нос тошнотворный запах чеснока или человеческого тела. Я думаю об уродах, о шелудивых, о поте больных, обо всей грязи и мерзости человеческой.

Все это побывало в постели, в которой я должен спать. И меня тошнит, как только я суну в нее ногу.

А обеды в гостинице, долгие обеды за табльдотом, среди несносных и нелепых людей; а ужасные одинокие обеды за столиком ресторана, при жалкой свечке, покрытой колпачком!

А унылые вечера в незнакомом городе! Что может быть грустнее ночи, спускающейся над чужим городом! Идешь куда глаза глядят, среди движения, среди сутолоки, поражающей и пугающей, как во сне. Смотришь на лица, которых никогда не видел и никогда больше не увидишь, слышишь голоса людей, разговаривающих о безразличных для тебя вещах на языке, которого ты даже не понимаешь. Испытываешь ужасное ощущение потерянности. Сердце сжимается, ноги слабеют, на душе гнет. Идешь, словно спасаешься от чего-то, идешь, лишь бы только не возвращаться в гостиницу, где чувствуешь себя еще более потерянным, потому что там ты как будто «дома», но ведь это «дом» любого, кто только заплатит за него, – и в конце концов падаешь на стул в каком-нибудь ярко освещенном кафе, позолота и огни которого угнетают в тысячу раз сильнее, чем уличный крик. И сидя перед липкой кружкой пива, поданной суетливым официантом, чувствуешь себя столь отвратительно одиноким, что какое-то безумие

охватывает тебя, желание бежать куда-нибудь, бежать куда угодно, чтобы только не быть здесь, не сидеть за этим мраморным столиком, под этой ослепительной люстрой. И тогда вдруг понимаешь, что ты всегда и везде одинок в этом мире и что привычные встречи в знакомых местах внушают лишь иллюзию человеческого братства. В такие часы заброшенности, мрачного одиночества в чужих городах мысль работает особенно независимо, ясно и глубоко. И тут одним взглядом охватываешь всю жизнь и видишь ее уже не сквозь розовые очки вечных надежд, а вне обмана нажитых привычек, без ожидания постоянно грезящегося счастья.

Только уехав далеко, сознаешь, до чего все близко, ограничено и ничтожно; только в поисках неизведанного замечаешь, до чего все обыкновенно и мимолетно; только странствуя по земле, видишь, до чего тесен и однообразен мир.

О, эти угрюмые вечера, когда шагаешь наудачу по незнакомым улицам, — я испытал их! Этих вечеров я боюсь больше всего на свете.

Вот почему, ни за что не желая ехать в Италию один, я уговорил моего приятеля Поля Павильи отправиться вместе со мной.

Вы знаете Поля. Для него весь мир, вся жизнь — в женщине. Таких мужчин найдется немало. Жизнь кажется ему поэтической и яркой только благодаря присутствию женщин. На земле стоит жить лишь потому, что они живут на ней; солнце сияет и греет потому, что освещает их. Воздух приятно вдыхать потому, что он овеивает их кожу и играет короткими завитками у них на висках. Луна восхитительна потому, что заставляет их мечтать и придает любви томную прелесть. Словом, вдохновляет и интересуют Поля только женщины; к ним обращены все его помыслы, все его стремления и надежды.

Один поэт заклеил людей подобного рода:

Всех больше не терплю я томного поэта:

Посмотрит на звезду — и имя шепчет он,

А рядом с ним всегда Нинон или Лизетта, —

Иначе пуст ему казался б небосклон.

Такие чудаки стараются день целый,
Чтоб пробудить любовь к природе у людей:
То на зеленый холм прицепят чепчик белый,
То юбку – к деревцам, растущим средь полей.

Тот не поймет твоих, природа, песен чудных,
Твоих, бессмертная, звенящих голосов.
Кто не бродил один среди полей безлюдных.
Кто грезит женщиной под шепоты лесов [1].

Когда я заговорил с Полем об Италии, он сначала решительно отказался уезжать из Парижа, но я стал расписывать ему разные дорожные приключения, сказал, что итальянки слынут очаровательными, пообещал доставить ему в Неаполе разные утонченные удовольствия благодаря имевшейся у меня рекомендации к некоему синьору Микелю Аморозо, знакомство с которым весьма полезно для иностранцев, – и он поддался искушению.

II.

Мы сели в скорый поезд в четверг вечером 26 июня. В это время года никто не ездит на юг, и мы оказались в вагоне одни. Оба были в дурном настроении, досадуя на то, что покидаем Париж, недовольные, что навязали себе это путешествие, с сожалением вспоминая тенистый Марли, прекрасную Сену, отлогие берега, славные дни прогулок на лодке, славные вечера, когда так хорошо дремлет на берегу, пока спускается ночь.

Поль забился в уголок и, когда поезд тронулся, заявил:

– До чего же глупо пускаться в такое путешествие.

Так как он уже не мог изменить своего решения, я сказал в ответ:

– Не надо было ехать.

Он промолчал. Но вид у него был такой сердитый, что я чуть не расхохотался. Он, безусловно, похож на белку. Каждый из нас сохраняет под своим человеческим обликом черты какого-нибудь животного, нечто вроде признаков своей первоначальной породы. Сколько найдется людей с бульдожьей пастью, с козлиной,

кроличьей, лисьей, лошадиной, бычьей головой! Поль – это белка, превратившаяся в человека. У него те же живые глазки, рыжая шерстка, острый носик, небольшое тельце, тоненькое, гибкое, проворное, да и во всем облике его есть какое-то сходство с этим зверьком. Как бы это сказать? Сходство в жестах, движениях и повадке, словно какое-то смутное воспоминание о прежнем существовании.

Наконец мы оба заснули, как спят в вагоне, – сном, который беспрестанно прерывается из-за шума, из-за судорог в руках или шее, из-за внезапных остановок поезда.

Мы проснулись, когда поезд шел уже вдоль берега Роны. И вскоре в окно ворвалось стрекотание кузнечиков, то непрерывное стрекотание, которое кажется голосом самой нагретой земли, песней Прованса; оно пахнуло нам в лицо, в грудь, в душу радостным ощущением юга, запахом раскаленной почвы, каменистой и солнечной родины приземистого оливкового дерева с его серо-зеленой листвой.

Когда поезд остановился у станции, железнодорожный служащий промчался вдоль состава, звонко выкрикивая: «Баланс!» – по-настоящему, подлинным местным говором, и это «Баланс», как перед тем скрежещащее стрекотание кузнечиков, снова заставило нас всем существом ощутить вкус Прованса.

До Марселя ничего нового.

В Марселе мы вышли позавтракать в буфете.

Когда мы вернулись в вагон, там сидела женщина.

Поль бросил мне восхищенный взгляд; машинальным движением он подкрутил свои короткие усики, поправил прическу, проведя пятерней, словно гребнем, по волосам, сильно растрепавшимся за ночь. Потом уселся против незнакомки.

Всякий раз, когда – в дороге или в обществе – передо мной появляется новое лицо, меня неотступно преследует желание разгадать, какая душа, какой ум, какой характер скрываются за этими чертами.

То была молодая женщина, совсем молоденькая и прехорошенькая, – без сомнения, дочь юга. У нее были чудесные глаза, великолепные черные волосы, волнистые, слегка вьющиеся, до того густые, жесткие и длинные, что казались тяжелыми, и

стоило только взглянуть на них, чтобы сразу ощутить на голове их бремя. Одета нарядно и по-южному несколько безвкусно, она казалась немного вульгарной. Правильные черты ее лица были лишены той грации, того легкого изящества, утонченности, которые присущи от рождения детям аристократии и являются как бы наследственным признаком более благородной крови.

Ее браслеты были слишком широки, чтобы их можно было принять за золотые, прозрачные камни в серьгах слишком велики для бриллиантов, да и во всем ее облике было что-то простонародное. Чувствовалось, что она, должно быть, привыкла говорить чересчур громко и по любому поводу кричать, буйно жестикулируя.

Поезд тронулся.

Она сидела неподвижно, устремив хмурый взгляд перед собой, с обиженным и раздосадованным видом. На нас она даже не взглянула.

Поль завел со мной беседу, высказывая вещи, рассчитанные на эффект, и стараясь привлечь ее внимание, блеснуть искусной фразой, ослепить красноречием, подобно торговцу, который выставляет отборный товар, чтобы разжечь покупателя.

Но она, казалось, ничего не слышала.

– Тулон! Остановка десять минут! Буфет! – прокричал кондуктор.

Поль сделал мне знак выйти и, как только мы очутились на платформе, спросил:

– Скажи, пожалуйста, кто она, по-твоему?

Я рассмеялся:

– Вот уж не знаю. Да мне это совершенно безразлично.

Он был очень возбужден.

– Она чертовски хорошенькая и свеженькая, плутовка! А какие глаза! Но вид у нее недовольный. У нее, должно быть, неприятности: она ни на что не обращает внимания.

Я проворчал:

– Зря стараешься.

Но он рассердился:

– Я вовсе не стараюсь, дорогой мой; я нахожу эту женщину очень хорошенькой, вот и все. А что, если заговорить с ней? Только о чем? Ну, посоветуй что-нибудь. Как ты думаешь, кто она такая?

– Право, не знаю. Вероятно, какая-нибудь актрисочка, которая возвращается в свою труппу после любовного похождения.

Он принял оскорбленный вид, точно я сказал ему что-то обидное, и возразил:

– Из чего ты это заключаешь? Я, наоборот, нахожу, что у нее вид вполне порядочной женщины.

Я ответил:

– Мой милый, посмотри на ее браслеты, серьги, на весь ее туалет. Я не удивлюсь, если она окажется танцовщицей или, может быть, даже цирковой наездницей, но скорее всего, пожалуй танцовщицей. Во всей ее внешности есть что-то от театра.

Эта мысль решительно не нравилась ему.

– Она слишком молода, дорогой мой, ей не больше двадцати лет.

– Но, мой милый, мало ли что можно проделывать и до двадцати лет! Танцы, декламация, не говоря уже о других вещах, которыми она, может быть, единственно и занимается.

– Экспресс на Ниццу – Вентимилью, занимайте места! – закричал кондуктор.

Пришлось войти в вагон. Наша соседка ела апельсин. Ее манеры в самом деле не отличались изысканностью. Она разостлала на коленях носовой платок, а то, как она снимала золотистую корку, открывала рот, хватая губами дольки апельсина, и выплевывала зернышки в окно, изобличало простонародные привычки и жесты.

Она как будто еще больше насупилась и уничтожала апельсин с яростью, положительно забавной.

Поль пожирал ее взглядом, придумывая способ привлечь ее внимание, разбудить ее любопытство. И он снова пустился болтать со мною, изрекая множество изысканных мыслей, непринужденно упоминая о знаменитостях. Но она не обращала никакого внимания на его усилия.

Проехали Фрежус, Сен-Рафаэль. Поезд мчался теперь среди пышных садов, по райской стране роз, через рощи цветущих апельсиновых и лимонных деревьев, покрытых одновременно и гроздьями белых цветов и золотистыми плодами, среди благоухающего царства цветов, вдоль восхитительного побережья, которое тянется от Марселя до Генуи.

В этот край, где в тесных долинах и по склонам холмов свободно и дико растут прекраснейшие цветы, надо приезжать именно в июне. Куда ни взглянешь – повсюду розы: целые поля, равнины, изгороди, чащи роз. Они ползут по стенам, распускаются на крышах, взбираются на деревья, сверкают среди листвы – белые, красные, желтые, мелкие или огромные, тоненькие, в простеньких однотонных платицах, или мясистые, в тяжелом и пышном наряде. Их непрерывное могучее благоухание сгущает воздух, придает ему вкус, насыщает его томлением. А еще более резкий запах цветущих апельсиновых деревьев словно подслащивает вдыхаемый воздух, превращая его в лакомство для обоняния.

Омываемое неподвижным Средиземным морем, расстилается побережье с темными скалами. Тяжкое летнее солнце огненной пеленой ниспадает на горы, на длинные песчаные откосы, на тяжелую, застывшую синеву моря. А поезд все мчится, вбегают в туннели, минуя мысы, скользит по волнистым холмам, пробегает над водой по отвесным, как стена, карнизам, и легкий, нежный солоноватый аромат, аромат сохнувших водорослей примешивается порой к сильному, волнующему запаху цветов.

Но Поль ничего не видел, ни на что не смотрел, ничего не чувствовал. Путешественница завладела всем его вниманием.

В Каннах, желая снова поговорить со мной, он опять сделал мне знак сойти.

Как только мы вышли из вагона, он взял меня под руку.

– Знаешь, она восхитительна. Посмотри на ее глаза. А волосы! Дорогой мой, да я никогда не видывал подобных волос!

Я сказал ему:

– Будет тебе, уймись – или, если уж ты решился, иди в наступление. Вид у нее не очень-то неприступный, хотя она и кажется порядочною злокой.

Он продолжал:

– А не мог бы ты заговорить с ней? Я как-то теряюсь. Вначале я всегда дурачки робок. Я никогда не умел пристать к женщине на улице. Я иду за ней, кружусь возле нее, подхожу, но никогда не могу найти нужных слов. Один только раз я попытался начать беседу. Так как я совершенно ясно видел, что от меня ждут начала разговора и сказать что-нибудь было необходимо, я

пробормотал: «Как поживаете, сударыня?» Она рассмеялась мне прямо в лицо, и я бежал.

Я обещал Полю употребить все свое искусство, чтоб завязать беседу, и когда мы уселись, учтиво осведомился у соседки:

– Сударыня, вам не мешает табачный дым?

Она ответила:

– Non capisco [2].

Она была итальянка! Дикий приступ смеха овладел мной. Поль ни слова не знал по-итальянски, и я должен был служить ему переводчиком. Я приступил к исполнению своей роли и повторил, уже по-итальянски:

– Я спросил вас, сударыня, не мешает ли вам табачный дым?

Она сердито бросила:

– Che mi fa?

Она даже головы не повернула в мою сторону, не взглянула на меня, и я недоумевал, следует ли понять это «Какое мне дело?» как разрешение или как запрет, как свидетельство безразличия или просто как «Оставьте меня в покое».

Я продолжал:

– Сударыня, если дым мешает вам хоть немного...

Она ответила тогда «misa» [3] тоном, который означал:

«Не приставайте ко мне!» Все же это было позволение, и я сказал Полю:

– Можешь курить.

Стараясь понять, он озадаченно глядел на меня, как глядишь, когда рядом с тобой разговаривают на непонятном языке, и спросил:

– Что ты ей сказал?

– Я спросил у нее, можно ли нам курить.

– Она по-французски не говорит?

– Ни слова.

– Что же она ответила?

– Что она разрешает нам делать все, что угодно.

И я закурил сигару.

Поль продолжал:

– Это все, что она сказала?

– Мой милый, если бы ты сосчитал ее слова, ты заметил бы, что

она произнесла их ровно шесть, из которых двумя она дала понять, что не знает французского языка. Значит, остается четыре. Ну, а в четырех словах особенно много ведь не выскажешь.

Поль, казалось, был совсем уничтожен, обманут в своих ожиданиях, сбит с толку.

Но вдруг итальянка спросила меня все тем же недовольным тоном, который, по-видимому, был для нее обычен:

– Вы не знаете, в котором часу мы приедем в Геную?

– В одиннадцать часов вечера, сударыня, – ответил я.

Помолчав немного, я продолжал:

– Мы с приятелем тоже едем в Геную и будем чрезвычайно счастливы, если сможем быть вам чем-нибудь полезны в пути.

Так как она не отвечала, я настаивал:

– Вы едете одна, и если нуждаетесь в наших услугах...

Она опять отчеканила новое «misa», и так резко, что я сразу замолчал.

Поль спросил:

– Что она тебе сказала?

– Она сказала, что находит тебя очаровательным.

Но он не был расположен шутить и сухо спросил не насмехаться над ним. Тогда я перевел ему вопрос нашей соседки и мое любезное предложение, встретившее такой суровый отпор.

Он волновался, точно белка в клетке. Он сказал:

– Если бы нам удалось узнать, в какой гостинице она остановится, мы поехали бы туда же. Постарайся как-нибудь половчее выпросить ее, придумай еще какой-нибудь предлог для разговора.

Но это было не так-то просто, и я совсем не знал, что бы такое изобрести, хотя мне и самому хотелось познакомиться с этой неподатливой особой.

Проехали Ниццу, Монако, Ментону, и поезд остановился на границе для осмотра багажа.

Хотя я не выношу плохо воспитанных людей, которые завтракают и обедают в вагоне, я все же накупил целый запас провизии, чтобы испытать последнее средство: сыграть на аппетите нашей спутницы. Я чувствовал, что эта девица в обычных условиях

должна быть сговорчивее. Она была раздражена какой-то неприятностью, но, вероятно, достаточно было любого пустяка, угаданного желания, одного какого-либо слова, кстати сделанного предложения, чтобы развеселить ее, привлечь на нашу сторону и покорить.

Поезд отошел. Нас по-прежнему было только трое в вагоне. Я разложил на скамейке свои припасы, разрезал цыпленка, красиво разместил на бумаге ломтики ветчины, потом нарочно пододвинул поближе к спутнице наш десерт: клубнику, сливы, вишни, пирожное и конфеты.

Увидев, что мы принялись за еду, она, в свою очередь, вытащила из мешочка шоколад и две подковки и стала грызть красивыми острыми зубами хрустящий хлеб и шоколадную плитку.

Поль сказал мне вполголоса:

– Угости же ее!

– Я это и собираюсь сделать, мой милый, но начать не так-то просто.

Между тем соседка время от времени искоса поглядывала на наши припасы, и я понял, что, покончив со своими двумя подковками, она еще не утолит голода. Я дал ей время завершить ее скромный обед, а затем сказал:

– Не окажете ли нам честь, сударыня, попробовать эти ягоды?

Она опять ответила «міса», но уже не таким сердитым тоном, как раньше. Я настаивал:

– В таком случае позвольте мне предложить вам немного вина. Я вижу, вы ничего не пили. Это вино вашей родины, вино Италии, и так как сейчас мы уже на вашей земле, нам было бы весьма приятно, если бы прелестный итальянский ротик принял подношение от соседей-французов.

Она тихонько покачала головой, упрямо отказываясь и в то же время готовая согласиться, и снова произнесла свое «міса», но почти вежливое «міса». Я взял бутылочку, оплетенную соломой на итальянский манер, наполнил стаканы и поднес ей.

– Выпейте, – сказал я, – пусть это будет приветствием по случаю приезда на вашу родину.

Она с недовольным видом взяла стакан и осушила его залпом, точно ее мучила жажда, после чего вернула его мне, даже не

поблагодарив.

Тогда я предложил ей вишен:

– Кушайте, пожалуйста, сударыня. Вы же видите, что доставите нам большое удовольствие.

Она оглядела из своей, угла фрукты, разложенные около нее, и проговорила так быстро, что я с трудом мог разобрать:

– A me non piacciono ne le ciliegie ne le susine; amo soltanto le fragole.

– Что она говорит? – тотчас же осведомился Поль.

– Она говорит, что не любит ни вишен, ни слив, а только клубнику.

Я положил ей на колени газету с клубникой. Она сейчас же с чрезвычайной быстротой принялась есть ягоды, захватывая их кончиками пальцев и подбрасывая себе в рот, который при этом весьма мило и кокетливо открывался.

Когда она покончила с красной кучкой, которая на наших глазах в течение каких-нибудь нескольких минут уменьшалась, таяла и совсем исчезла под ее проворными пальцами, я спросил:

– Что я еще могу вам предложить?

Она ответила:

– Я охотно съела бы кусочек цыпленка.

И она уписала, наверное, половину птицы, отгрызая огромные куски с ухватками плотоядного животного. Потом она решилась взять вишен, которых не любила, потом слив, потом пирожного, потом сказала: «Довольно», – и снова забилась в свой угол.

Это начинало меня забавлять; я хотел заставить ее съесть еще что-нибудь и удвоил комплименты и предложения, чтобы склонить ее к этому. Но она внезапно пришла в прежнюю ярость и выпалила мне прямо в лицо такое свирепое «misa», что я уже не осмеливался больше нарушать ее пищеварение.

Я обратился к приятелю:

– Бедняга Поль, мы, кажется, напрасно старались.

Медленно спускалась ночь, жаркая южная ночь, расстилая теплые тени по накаленной и усталой земле. Вдали, то тут, то там, со стороны моря, на мысах, на вершинах прибрежных скал зажигались огоньки, а на потемневшем горизонте начали появляться звезды, и я порой смешивал их с огнями маяков.

Аромат апельсиновых деревьев становился сильнее, и мы с упоением, глубоко, всей грудью впивали его; какую-то негой, неземной отрадой, казалось, веяло в благовоном воздухе. И вдруг под деревьями, вдоль полотна, в темноте, теперь уже совсем сгустившейся, я увидел что-то вроде звездного дождя. Точно капельки света прыгали, порхали, резвились и перебегали в листве, точно крошечные звездочки упали с неба, чтоб поиграть на земле. То были светлячки, пылающие мушки, плясавшие в благоуханном воздухе причудливый огненный танец.

Один светлячок случайно залетел в наш вагон и стал порхать, мерцая своим перемежающимся светом, который то загорался, то угасал. Я задернул лампочку синей занавеской и следил за фантастической мушкой, носившейся взад и вперед по прихоти своего пламенеющего полета. Внезапно она уселась на черные волосы нашей соседки, уснувшей после обеда. И Поль замер в экстазе, не сводя взора с блестящей точки, которая сверкала на лбу спящей женщины, точно живая драгоценность.

Итальянка проснулась без четверти одиннадцать; светлячок все еще сидел у нее в волосах. Видя, что она зашевелилась, я сказал ей:

— Мы подъезжаем к Генуе, сударыня.

Не отвечая мне, она пробормотала, словно ее преследовала навязчивая мысль:

— Что же мне теперь делать?

Потом вдруг спросила меня:

— Хотите, я поеду с вами?

Я был настолько поражен, что даже не понял.

— То есть как с нами? Что вы хотите сказать?

Она повторила, начиная еще больше раздражаться:

— Хотите, я поеду сейчас с вами?

— Ну, конечно; но куда же вы намерены ехать? Куда я должен отвезти вас?

Она пожала плечами с глубоким равнодушием.

— Куда вам будет угодно! Мне все равно.

И дважды повторила:

— Che mi fa?

— Но ведь мы едем в гостиницу.

Она презрительно проронила:

– Ну, что же, поедемте в гостиницу.

Я повернулся к Полю и сказал:

– Она спрашивает, желаем ли мы, чтобы она поехала с нами.

Мой друг был ошеломлен, и это помогло мне прийти в себя. Он пролепетал:

– С нами? Куда же? Зачем? Каким образом?

– Ничего не знаю! Она сделала мне это странное предложение самым раздраженным тоном. Я ответил ей, что мы едем в гостиницу; она заявила: «Ну, что же, поедемте в гостиницу!» У нее, наверное, совсем нет денег. Но как бы то ни было, она весьма своеобразно завязывает знакомства.

Поль, взволнованный, возбужденный, воскликнул:

– Ну, конечно, я согласен, скажи ей, что мы отвезем ее, куда ей угодно!

Затем, после некоторого колебания, он с беспокойством добавил:

– Все-таки надо узнать с кем она хочет ехать? С тобой или со мной?

Я повернулся к итальянке, которая впала в свое обычное равнодушие и, казалось, даже не слушала нас:

– Мы будем крайне счастливы, сударыня, взять вас с собой. Но только мой приятель хотел бы знать, на чью руку, мою или его, вы предпочли бы опереться?

Она посмотрела на меня, широко раскрыв большие черные глаза, и с легким изумлением проговорила:

– Che mi fa?

Я пояснил:

– Если я не ошибаюсь, у вас в Италии того дружка, кто принимает на себя заботу о всех желаниях женщины, выполняет всякую ее прихоть и удовлетворяет всякий ее каприз, называют *patito*. Кого из нас хотели бы вы избрать своим *patito*?

Она, не колеблясь, ответила:

– Вас!

Я обернулся к Полю:

– Тебе не везет, мой милый, она выбирает меня.

Он с досадой проговорил:

– Тем лучше для тебя.

И после некоторого раздумья прибавил:

– Так ты в самом деле решил взять с собой эту девку? Она испортит нам все путешествие. Что мы станем делать с женщиной, которая бог знает на кого похожа? Да нас не пустят ни в одну порядочную гостиницу!

Но мне, как нарочно, итальянка начинала нравиться гораздо больше, чем вначале, и теперь я желал, да, желал непременно увезти ее с собой. Эта мысль приводила меня в восхищение, и я уже испытывал ту легкую дрожь ожидания, которая пробегает у нас по жилам в предвкушении ночи любви.

Я ответил:

– Мой милый, ведь мы согласились. Отступить уже поздно. Ты первый посоветовал мне дать ей утвердительный ответ.

Он проворчал:

– Это глупо! Впрочем, делай, как хочешь. Поезд дал свисток, замедлил ход; мы приехали.

Я вышел из вагона и помог выйти моей новой подруге. Она легко спрыгнула на платформу, и я предложил ей руку, на которую она оперлась как будто с отвращением. Отыскав и получив багаж, мы отправились в город. Поль шагал молчаливо и нервно.

Я спросил его:

– Где же мы остановимся? Пожалуй, в «Город Париж» не очень-то удобно явиться с женщиной, в особенности с этой итальянкой.

Поль перебил меня:

– Именно, с итальянкой, которая больше смахивает на девку, чем на герцогиню. Ну, да меня это не касается. Поступай, как знаешь!

Я стал в тупик. Я заранее написал в «Город Париж», чтобы за нами оставили помещение... но теперь... я уж и не знал, как мне быть.

Двое носильщиков несли за нами чемоданы. Я продолжал:

– Тебе следовало бы пойти вперед. Ты скажешь, что мы сейчас придем. И, кроме того, ты дашь понять хозяину, что я с одной... приятельницей и что мы хотим получить совершенно отдельное помещение на троих, чтоб не встречаться с другими путешественниками. Он поймет, и, смотря по тому, что он нам ответит, мы и будем решать.

Но Поль проворчал:

– Благодарю, такие поручения и эта роль мне совершенно не подходят. Я приехал сюда не для того, чтобы заботиться о твоих апартаментах и удовольствиях.

Но я настойчиво убеждал:

– Да ну же, мой милый, не сердись. Гораздо лучше устроиться в хорошей гостинице, чем в плохой, и разве так уж трудно попросить у хозяина три отдельные комнаты со столовой?

Я подчеркнул «три», и это его убедило.

Он проследовал вперед, и я видел, как он вошел в большой подъезд красивой гостиницы, пока я на другой стороне улицы тащил под руку свою молчаливую итальянку, а двое носильщиков следовали за мною по пятам.

Наконец Поль вернулся, и лицо у него было такое же угрюмое, как и у моей спутницы.

– Нам дадут помещение, – сказал он, – но комнат только две. Устраивайся, как знаешь.

И я пошел за ним, стыдясь, что вхожу в гостиницу в обществе подозрительной спутницы.

Действительно, нам дали две комнаты, отделенные друг от друга небольшой гостиной. Я попросил, чтобы нам принесли холодный ужин, и нерешительно повернулся к итальянке:

– Нам удалось достать только две комнаты, сударыня, выбирайте, какую вам угодно.

Она ответила своим обычным: «Che mi fa?» Тогда я поднял с пола ее маленький черный деревянный ящик, настоящий сундучок горничной, и отнес его в комнату направо, которую я выбрал для нее... для нас. На четырехугольном клочке бумаги, наклеенном на ящике, было написано по-французски: «Мадмуазель Франческа Рондоли, Генуя».

Я спросил:

– Вас зовут Франческа?

Она не ответила и только утвердительно кивнула головой.

Я продолжал:

– Сейчас мы будем ужинать. Может быть, вы желаете пока привести в порядок туалет?

Она ответила своим «misa» – словом, которое повторялось в ее

устах так же часто, как и «Che mi fa?» Я настаивал:

– После поездки по железной дороге так ведь приятно немного почиститься.

Потом я подумал, что у нее, быть может, не было с собой необходимых женщине туалетных принадлежностей, так как мне казалось, что она в затруднительном положении или только что выпуталась из неприятного приключения, – и я принес ей свой несессер.

Я вынул оттуда все находившиеся в нем туалетные принадлежности: щеточку для ногтей, новую зубную щетку – я всегда вожу с собой целый набор зубных щеток, – ножницы, пилочки, губки. Я откупорил флакон с душистой лавандовой водой и флакончик с new town hair, предоставляя ей выбрать, что пожелает. Открыл коробочку с пудрой, где лежала легкая пуховка. Повесил на кувшин с водой одно из моих тонких полотенец и положил рядом с тазом непочатый кусок мыла.

Она следила за моими движениями большими сердитыми глазами: мои заботы, казалось, нисколько не удивляли ее и не доставляли ей никакого удовольствия.

Я сказал ей:

– Вот все, что вам может понадобиться. Когда ужин будет готов, я скажу вам.

И я вернулся в гостиную. Поль завладел другою комнатой и заперся в ней, так что мне пришлось дожидаться в одиночестве.

Лакей то уходил, то приходил, принося тарелки, стаканы. Он медленно накрыл на стол, потом поставил холодного цыпленка и объявил, что все готово.

Я тихонько, постучал в дверь мадмуазель Рондоли. Она крикнула: «Войдите». Я вошел. Меня обдал удушливый запах парфюмерии, резкий, густой запах парикмахерской.

Итальянка сидела на своем сундучке в позе разочарованной мечтательницы или уволенной прислуги. Я с первого же взгляда понял, что означало для нее привести в порядок свой туалет. Неразвернутое полотенце висело на кувшине, по-прежнему полном воды. Нетронутое сухое мыло лежало около пустого таза; но зато можно было подумать, что молодая женщина выпила по меньшей мере половину флаконов с духами. Правда, одеколон она

пощадила, не хватало всего лишь трети бутылки; но она вознаградила себя невероятным количеством лавандовой воды и new town hay. Она так напудрила лицо и шею, что в воздухе, казалось, еще носился легкий белый туман, облако пудры. Ее ресницы, брови, виски были словно обсыпаны снегом; пудра лежала на щеках словно штукатурка и толстым слоем заполняла все впадины на лице – крылья носа, ямочку на подбородке, уголки глаз.

Когда она встала, по комнате разнесся такой резкий запах, что я почувствовал приступ мигрени.

Сели ужинать. Поль был в отвратительном настроении. Я не мог вытянуть из него ничего, кроме воркотни, недовольных замечаний или ядовитых любезностей.

Мадмуазель Франческа поглощала еду, словно бездонная пропасть. Поужинав, она задремала на диване. Но я с беспокойством чувствовал, что приближается решительный час нашего размещения по комнатам. Решив ускорить события, я присел к итальянке и галантно поцеловал ей руку.

Она приоткрыла усталые глаза и бросила на меня из-под приподнятых век сонный и, как всегда, недовольный взгляд.

Я сказал ей:

– Так как у нас всего две комнаты, не разрешите ли мне поместиться в вашей?

Она ответила:

– Делайте, как вам угодно. Мне все равно. Che mi fa?

Это равнодушие укололо меня:

– Значит, вам не будет неприятно, если я пойду с вами?

– Мне все равно. Как хотите.

– Не желаете ли лечь сейчас?

– Да, я очень хочу спать.

Она встала, зевнула, протянула Полю руку, которую тот сердито пожал, и я посветил ей по дороге в нашу комнату.

Но беспокойство продолжало преследовать меня.

– Вот все, что вам может понадобиться, – повторил я снова.

И я самолично позаботился налить воды из кувшина в таз и положить полотенце около мыла.

Потом вернулся к Полю. Не успел я войти, как он объявил:

– Порядочную же дрянь ты притащил сюда!

Я засмеялся:

– Милый друг, не говори, что зелен виноград.

Он прибавил со скрытым ехидством:

– Смотри, дорогой мой, как бы не захворать от этого винограда!

Я вздрогнул, и меня охватила та мучительная тревога, которая преследует нас после подозрительных любовных приключений, тревога, отравляющая нам самые очаровательные встречи, неожиданные ласки, случайно сорванные поцелуи. Однако я напустил на себя удалство:

– Ну, что ты, эта девушка не потаскуха.

Но теперь я был в руках этого мошенника! Он подметил на моем лице тень тревоги:

– Но ведь ты же о ней ничего не знаешь! Я поражаюсь тебе! Ты подбираешь в вагоне итальянку, путешествующую в одиночестве; с неподражаемым цинизмом она предлагает тебе провести с нею ночь в первой попавшейся гостинице. Ты берешь ее с собой. И еще утверждаешь, что это не девка! И уверяешь себя, будто не подвергаешься сегодня вечером такой же опасности, как если бы ты провел ночь в постели... женщины, больной оспой!

И он рассмеялся злым, раздраженным смехом. Я присел, терзаемый беспокойством. Что мне теперь делать? Ведь он прав. Во мне началась страшная борьба между желанием и страхом.

Он продолжал:

– Делай, как знаешь, я тебя предупредил; только после не плакаться!

Но я уловил в его взгляде такую злую иронию, такую радость мести, он так дерзко издевался надо мною, что я не стал больше колебаться. Я протянул ему руку.

– Спокойной ночи, – сказал я. – И ей-богу, милый мой, победа стоит опасности!

Где нет опасностей – там торжество без славы!

И я твердыми шагами вошел в комнату Франчески.

В изумлении, восхищенный, остановился я на пороге. Она уже спала на постели, совершенно нагая. Сон настиг ее, пока она раздевалась, и она лежала в прелестной величественной позе тициановской женщины.

Казалось, побежденная усталостью, она прилегла на кровать, когда снимала чулки, — они лежали тут же на простыне; затем вспомнила о чем-то, должно быть о чем-нибудь приятном, потому что медлила вставать, а затем, незаметно закрыв глаза, тихо уснула. Вышитая по вороту ночная рубашка, купленная в магазине готовых вещей — роскошь начинающей, — валялась на стуле.

Она была очаровательна — молодая, крепкая и свежая.

Что может быть прелестнее спящей женщины! Это тело, все контуры которого так нежны, все изгибы так пленительны, все мягкие округлости так смущают сердце, как будто создано для того, чтобы неподвижно покоиться в постели. Эта волнистая линия, которая, углубляясь у талии, приподнимается на бедре, а потом легко и изящно спускается по изгибу ноги, чтобы так кокетливо завершиться у кончиков пальцев, может обрисоваться во всей своей изысканной прелести лишь на простынях постели.

Одно мгновение, и я уже готов был позабыть благоразумные советы приятеля, но, повернувшись внезапно к туалетному столику, увидел, что все вещи находились на нем в том же положении, как я их и оставил; и я сел, томясь беспокойством, мучаясь своей нерешительностью.

По-видимому, я просидел так долго, очень долго, может быть, целый час, не отваживаясь ни на что — ни на атаку, ни на бегство. Впрочем, отступление было невозможно, и приходилось либо просидеть всю ночь на стуле, либо тоже улечься в постель на свой риск и страх.

Но там ли, тут ли — я все равно не мог и думать о сне: мысли мои были слишком возбуждены, а глаза слишком заняты.

Я вертелся во все стороны, дрожа, как в лихорадке, не находя себе места, взволнованный до крайности. В конце концов я пошел на уступку: «Лечь в постель — еще ни к чему меня не обяжет. Во всяком случае, я с большим удобством отдохну на кровати, чем на стуле».

И я стал медленно раздеваться, а потом, перебравшись через спящую, растянулся вдоль стены, повернувшись спиной к искушению.

Так пролежал я долго, очень долго, не в силах уснуть.

Но вдруг соседка моя пробудилась. Она открыла удивленные и,

как всегда, недовольные глаза, потом заметив, что лежит голая, поднялась и стала преспокойно надевать ночную рубашку, точно меня там и не было.

Тогда... черт возьми... я воспользовался обстоятельствами, что ее, по-видимому, нисколько не смутило; она снова мирно уснула, склонив голову на правую руку.

А я долго еще размышлял о неблагоразумии и слабости человеческой. Затем наконец погрузился в сон.

Она поднялась рано, как женщина, привыкшая с утра работать. Вставая, она невольно разбудила меня, и я стал следить за нею из-под полуприкрытых век.

Она не спеша ходила по комнате, точно удивляясь, что ей нечего делать. Потом решилась подойти к туалетному столику и в одно мгновение вылила на себя все духи, которые еще оставались в моих флаконах. Она воспользовалась, правда, и водой, но в весьма ограниченном количестве.

Одевшись, она уселась на свой сундук и, обняв руками колени, задумалась.

Я сделал вид, будто только что увидел ее, и сказал:

— С добрым утром, Франческа.

Но она, казалось, нисколько не стала любезнее со вчерашнего дня и проворчала:

— С добрым утром.

Я спросил:

— Вы хорошо спали?

Не отвечая, она утвердительно кивнула головой; я соскочил с кровати и подошел поцеловать ее.

Она нехотя подставила мне лицо, как ребенок, которого ласкают против его желания. Я нежно обнял ее (раз вино налито, надо его выпить) и медленно прикоснулся губами к ее большим сердитым глазам, которые она с досадой закрывала под моими поцелуями, к свежим щекам, к полным губам, которые она прятала от поцелуев.

Я сказал ей:

— Значит, вы не любите, когда вас целуют?

Она ответила:

– Mica.

Я сел рядом с ней на сундук и просунул свою руку под ее локоть:

– Mica! Mica! На все mica! Теперь я буду всегда называть вас мадмуазель Mica!

В первый раз я как будто заметил на ее губах тень улыбки, но она исчезла так быстро, что, может быть, я и ошибся.

– Но если вы всегда будете отвечать «mica», я совсем не буду знать, чем развлечь вас, чем доставить вам удовольствие. Вот, сегодня, например, что мы будем делать?

Она колебалась, словно какое-то подобие желания мелькнуло в ее сознании, и равнодушно проговорила:

– Мне все равно, что хотите.

– Хорошо, мадмуазель Mica, тогда мы возьмем коляску и поедem кататься.

Она пробурчала:

– Как хотите.

Поль ждал нас в столовой со скучающей физиономией третьего лица в любовном приключении. Я соорудил восторженную мину и пожал ему руку с энергией, полной торжествующих признаний. Он спросил:

– Что ты намерен делать?

Я ответил:

– Сначала немного побродим по городу, а потом возьмем коляску и поедem куда-нибудь в окрестности.

Завтрак прошел в молчании, затем мы отправились по городу осматривать музеи. Я таскал Франческу под руку из одного дворца в другой. Мы побывали во дворце Спинола, во дворце Дориа, во дворце Марчелло Дураццо, в Красном дворце, в Белом дворце. Она ничем не интересовалась и лишь изредка окидывала шедевры искусства ленивым, безразличным взглядом. Поль сердито шел за нами и ворчал. Потом мы прокатились в коляске за город, причем все трое молчали.

Затем вернулись пообедать.

То же самое повторилось и завтра и послезавтра.

На третий день Поль сказал:

– Знаешь, я намереваюсь расстаться с тобой; я не желаю сидеть здесь три недели и смотреть, как ты волочишься за этой девкой! Я смутился и растерялся, так как, к моему величайшему изумлению, странным образом привязался к Франческе. Человек слаб и неразумен, он увлекается пустяками и, когда его чувственность возбуждена или покорена, становится малодушным. Мне стала дорога эта девушка, которую я совсем не знал, эта девушка, молчаливая и вечно недовольная. Мне нравилось ее нахмуренное лицо, надутые губы, скучающий взгляд, нравились ее усталые движения, ее презрительная податливость на ласки, самое равнодушие ее ласк. Невидимые узы, те таинственные узы животной любви, та скрытая привязанность, которую порождает ненасытное желание, удерживали меня возле нее. Я все откровенно рассказал Полю. Он обозвал меня болваном, потом предложил:

– Ну что ж, возьми ее с собой.

Но она решительно отказалась уехать из Генуи и не желала объяснить причину. Я пустил в ход просьбы, обещания; ничего не помогло.

И я остался.

Поль объявил, что уезжает один. Он уложил даже свой чемодан, но тоже остался.

И вот прошло две недели.

Франческа, по-прежнему молчаливая и сердитая, жила скорее около меня, чем со мной, отвечая на все просьбы, на все мои предложения вечным своим «*Che mi fa?*» и не менее вечным «*mica*».

Мой приятель не переставал беситься. На все его гневные вспышки я неизменно отвечал:

– Если тебе здесь надоело, можешь уехать. Я тебя не удерживаю. Тогда он начинал ругаться, осыпал меня упреками и кричал:

– Куда же прикажешь мне ехать? В нашем распоряжении было всего три недели, а две уже прошли! Уж нет времени теперь ехать дальше. И потом я вовсе не собирался отправляться в Венецию, Флоренцию и Рим один! Но ты заплатишь мне за это, и гораздо дороже, чем думаешь. Незачем тащить человека из Парижа в Геную, чтобы запереть его в гостинице с итальянской

потаскухой!

Я спокойно отвечал ему:

— Ну, что ж, тогда возвращайся в Париж.

И он вопил:

— Я так и сделаю, и не позже чем завтра!

Но и на следующий день, все так же злясь и ругаясь, он не уехал, как и накануне.

Нас теперь уже знали в городе, где мы бродили по улицам с утра до вечера, по узким улицам без тротуаров, придающим городу сходство с огромным каменным лабиринтом, прорезанным коридорами, которые напоминают подземные ходы. Мы блуждали по этим проходам, где дует яростный сквозной ветер, по переулкам, сжатым между такими высокими стенами, что неба почти не видно. Встречные французы порой оглядывались на нас, с удивлением узнавая соотечественников, оказавшихся в обществе этой скучающей и крикливо одетой девицы, чьи манеры в самом деле казались странными, неуместными, компрометирующими.

Она шла, опираясь на мою руку, ничем не интересуясь. Почему же она оставалась со мной, с нами, если мы, по всей видимости, доставляли ей так мало удовольствия? Кто она? Откуда? Чем занимается? Есть ли у нее какие-нибудь планы, замыслы? Или она живет наудачу, случайными встречами и приключениями? Напрасно старался я понять ее, разгадать, объяснить себе. Чем больше я узнавал ее, тем больше она меня поражала и представлялась мне какой-то загадкой. Конечно, она не была распутницей, торгующей любовью. Скорее она казалась мне дочерью бедных родителей, которую соблазнили, обманом увезли, погубили, а теперь бросили. На что же она рассчитывала? Чего ожидала? Ведь она вовсе не старалась покорить меня или извлечь из меня какую-нибудь выгоду.

Я пытался расспрашивать ее, заговаривал с ней о ее детстве, о семье. Она не отвечала. И я оставался с ней, свободный сердцем, но плотью в плену, никогда не уставая держать в объятиях эту угрюмую и великолепную самку, соединяясь с нею, как животное, обуреваемый чувственностью, или, скорее, соблазненный и побежденный каким-то чувственным очарованием, молодым, здоровым, могучим очарованием, исходящим от нее, от

ее ароматной кожи, от упругих линий ее тела.

Прошла еще неделя. Срок моего путешествия истекал: я должен был вернуться в Париж 11 июля. Поль теперь почти примирился с событиями, но продолжал браниться. Я же пытался изобретать удовольствия, развлечения, прогулки, чтобы позабавить любовницу и друга; я просто из кожи лез.

Однажды я предложил им экскурсию в Санта-Маргарета. Этот очаровательный, окруженный садами городок прячется у подножия скалистого берега, который выдается далеко в море, до самого поселка Порто-Фино. Мы отправились втроем по чудесной дороге, которая извивалась вдоль горы. Вдруг Франческа сказала мне:

– Завтра я не смогу с вами гулять. Я пойду к родным.

И замолчала. Я не расспрашивал ее, так как был уверен, что она все равно ничего не ответит.

На следующий день она действительно встала очень рано. Так как я еще лежал, она села на постель у меня в ногах и робко, нерешительно проговорила:

– Если я вечером не вернусь, вы зайдете за мной?

– Ну, конечно. А куда мне зайти?

Она стала объяснять:

– Вы пойдете по улице Виктора-Эммануила, потом свернете в пассаж Фальконе и переулок Сан-Рафаэль и увидите дом торговца мебелью; в правом флигеле в глубине двора спросите госпожу Рондоли. Я буду там.

И она ушла. Мне показалось это весьма странным. Увидев меня одного, Поль изумился и пробормотал:

– Где же Франческа?

Я рассказал ему все, что произошло.

Он воскликнул:

– Ну, мой дорогой, давай воспользуемся случаем и дадим тягу! Все равно нам уже пора. Двумя днями позже или раньше – это дела не меняет. В путь, в путь, укладывай чемоданы! В путь!

Я не соглашался:

– Но, милый друг, не могу же я бросить так эту девушку, прожив с ней почти три недели. Я должен проститься с ней, уговорить ее принять от меня что-нибудь нет, нет, иначе я оказался бы просто подлецом.

Но он ничего не хотел слушать, торопил меня, не давал мне покоя. Однако я не уступал.

Я не выходил из дома весь день, дожидаясь возвращения Франчески. Она не вернулась.

Вечером, за обедом, Поль торжествовал:

— Это она тебя бросила, дорогой мой. Вот забавно, ужасно забавно!

Признаюсь, я был удивлен и немного обижен. Он хохотал мне в лицо, насмехался надо мной.

— Способ хоть и простой, но придуман неплохо: «Подождите меня, я вечером вернусь». Долго ты намерен ее ждать? Да и как знать, ты, быть может, будешь так наивен, что еще пойдешь разыскивать ее по указанному адресу. «Здесь живет госпожа Рондоли?» «Такой здесь нет, сударь». Держу пари, что ты собираешься идти.

Я протестовал:

— Да нет же, мой милый, уверяю тебя, что если она не вернется завтра утром, я уеду в восемь часов, скорым поездом. Я прожду ее двадцать четыре часа. Этого достаточно: моя совесть будет спокойна.

Весь вечер мне было не по себе; я немного тосковал, немного нервничал. Право же, я к ней привязался. В полночь я лег. Спал очень плохо.

В шесть часов я был уже на ногах. Я разбудил Поля, уложил чемодан, и два часа спустя мы ехали во Францию.

III.

Вышло так, что на следующий год, в то же самое время, меня, подобно приступу перемежающейся лихорадки, снова охватило желание увидеть Италию. Я немедленно решил предпринять это путешествие, потому что для образованного человека посетить Венецию, Флоренцию и Рим, конечно, необходимо. Кроме того, это ведь дает много тем для разговора в обществе и возможность произносить избитые фразы об искусстве, которые всегда кажутся необычайно глубокомысленными.

На этот раз я отправился один и приехал в Геную в тот же час, что и в прошлом году, но уже без всяких дорожных приключений.

Остановился я в той же гостинице и случайно оказался в той же самой комнате!

Но едва я лег в постель, как воспоминание о Франческе, уже накануне смутно витавшее в моем сознании, стало преследовать меня с удивительной настойчивостью.

Знакома ли вам эта неотвязная мысль о женщине, преследующая вас при возвращении спустя долгое время в те места, где вы любили ее и обладали ею?

Это одно из самых сильных и самых тягостных ощущений, какие я только знаю. Чудится: вот она войдет, улыбнется, раскроет объятия. Ее образ, зыбкий и в то же время отчетливый, то возникает перед вами, то ускользает, овладевает вами, заполняет вам сердце, волнует ваши чувства своим призрачным присутствием. Ваш взор видит ее, вас преследует аромат ее духов, на губах вы ощущаете ее поцелуи, на коже – ласку ее тела. Вы сейчас один, вы это сознаете, но вас томит неизъяснимое волнение, порожденное этим призраком. И гнетущая, надрывающая душу тоска охватывает вас. Кажется, будто только что вас покинули навсегда. Все предметы приобретают мрачное значение и вселяют в сердце, в душу тягостное чувство одиночества и забвения. О, не возвращайтесь никогда в город, в дом, в комнату, в лес, в сад, на скамью, где вы держали в объятиях любимую женщину!

Всю ночь меня преследовало воспоминание о Франческе, и мало-помалу желание увидеть ее вновь овладевало мной, желание сначала смутное, потом все более сильное, острое, жгучее. Я решил провести в Генуе следующий день и попытаться ее разыскать. Если это не удастся, я уеду с вечерним поездом.

И вот с утра я принялся за поиски. Я прекрасно помнил указания, которые она дала, расставаясь со мной. Улица Виктора-Эммануила – пассаж Фальконе – переулок Сан-Рафаэль – дом торговца мебелью – в глубине двора – правый флигель.

Я нашел дорогу, хоть и не без труда, и постучался в дверь ветхого домика. Открыла толстая женщина, должно быть, изумительно красивая когда-то, но теперь лишь изумительно грязная. Хотя она была чересчур жирна, в чертах ее лица все же сохранилось необыкновенное величие. Пряди ее растрепанных

волос ниспадали на лоб и плечи, а под широким капотом, испещренным пятнами, колыхалось жирное, дряблое тело. На шее у нее было огромное позолоченное ожерелье, а на руках великолепные генуэзские филигранные браслеты. Она неприветливо спросила:

– Что вам нужно?

Я отвечал:

– Не здесь ли живет мадмуазель Франческа Рондоли?

– А на что она вам?

– Я имел удовольствие встретиться с нею в прошлом году, и мне хотелось бы вновь повидать ее.

Старуха изучала меня недоверчивым взглядом.

– А скажите, где вы с ней встретились?

– Да здесь же, в Генуе!

– Как вас зовут?

Я слегка замялся, но назвал себя. И лишь только я произнес свое имя, итальянка простерла руки, словно собираясь меня обнять.

– Ах, вы тот самый француз, как я рада вас видеть! Но до чего же вы огорчили бедную девочку! Она ждала вас целый месяц, сударь, да, целый месяц. В первый день она думала, что вы за ней зайдете. Она хотела знать, любите вы ее или нет! О, если бы вы знали, как она плакала, когда поняла, что вы уже не придете! Да, сударь, она все глаза выплакала! Потом она отправилась в гостиницу. Но вас уже не было. Тогда она подумала, что вы поехали дальше по Италии и еще будете в Генуе на обратном пути и тогда зайдете за ней, потому что она-то ведь не хотела ехать с вами. И она прождала вас больше месяца, – да, сударь! – и скучала, уж как скучала! Я ведь ее мать!

По правде сказать, я пришел в некоторое замешательство. Но оправился и спросил:

– А сейчас она здесь?

– Да нет, сударь, она в Париже, с одним художником, прекрасным молодым человеком, который очень любит ее, сударь, уж так любит, и дарит ей все, чего она только не захочет. Вот посмотрите, что она мне посылает, своей матери. Правда, красивые?

И с чисто южной живостью она показала свои широкие браслеты и тяжелое ожерелье. Она продолжала:

– У меня есть еще двое серег с камнями, и шелковое платье, и кольца; но по утрам я их не ношу, а вот только когда приоденусь куда-нибудь. Она сейчас очень счастлива, сударь, очень счастлива. Вот уж она будет рада, когда я ей напишу, что вы были! Да зайдите же, сударь, присядьте. Зайдите, выпейте чего-нибудь.

Я отказывался, – теперь мне хотелось уехать с первым же поездом. Но она схватила меня за руку и потащила в дом, приговаривая:

– Зайдите, сударь, должна же я ей написать, что вы побывали у нас.

И я очутился в небольшой, довольно темной комнате, где стояли стол и несколько стульев. Итальянка снова заговорила:

– О, сейчас она очень счастлива, очень счастлива! Когда вы повстречали ее на железной дороге, у нее было большое горе. Ее дружок бросил ее в Марселе. И она возвращалась домой одна, бедняжка. Вы ей сразу же очень понравились, но, понимаете, она ведь тогда еще немножко грустила. Теперь она ни в чем не нуждается; она пишет мне обо всем, что делает. Его зовут господин Бельмен. Говорят, он у вас известный художник. Он встретил ее на улице, да, сударь, так прямо на улице, и тут же влюбился в нее. Но не хотите ли стаканчик сиропу? Очень вкусный сироп. А вы что же, совсем одни в этом году?

Я ответил:

– Да, совсем один.

После сообщений г-жи Рондоли мое первое разочарование рассеялось, и я чувствовал теперь все большее и большее желание расхохотаться. Сироп пришлось выпить.

Она продолжала:

– Вы так-таки совсем одни? О, как жаль, что больше нет Франчески: она составила бы вам компанию, пока вы здесь. Разгуливать одному совсем не весело; она тоже будет очень жалеть.

Затем, когда я поднимался из-за стола, она воскликнула:

– А не хотите ли, чтобы с вами пошла Карлотта? Она прекрасно

знает все места для прогулок. Это моя вторая дочь, сударь, вторая.

По-видимому, она приняла мое изумление за согласие и, бросившись к двери, крикнула в темноту невидимой лестницы:

– Карлотта! Карлотта! Сойди сюда, доченька, скорее, скорее.

Я пытался возражать, но она настаивала на своем:

– Нет, нет, она составит вам компанию; она очень покладистая и гораздо веселее той; это хорошая девушка, прекрасная девушка, я ее очень люблю.

Я услышал шарканье шлепанцев на ступеньках лестницы, и появилась высокая черноволосая девушка, тоненькая и хорошенькая, но тоже растрепанная; под старым материнским платьем я угадывал молодое, стройное тело.

Г-жа Рондоли тотчас же познакомила ее с моим положением:

– Это француз Франчески, знаешь, тот, прошлогодний. Он пришел за ней; он нынче, бедненький, совсем один. И я сказала ему, что ты пойдешь с ним, чтобы составить ему компанию.

Карлотта посмотрела на меня красивыми карими глазами и, улыбаясь, прошептала:

– Если он хочет, я с удовольствием.

Как я мог отказаться? Я объявил:

– Ну, конечно, очень хочу.

Г-жа Рондоли подтолкнул ее к двери:

– Иди оденься, только скорей, скорей. Надень голубое платье и шляпу с цветами, да поторапливайся!

Когда дочь вышла, она пояснила:

– У меня есть еще две, но они моложе. Каких денег стоит, сударь, вырастить четырех детей! Хорошо, что хоть старшая теперь устроилась.

Потом она стала рассказывать мне о своей жизни, о покойном муже, служившем на железной дороге, и о всех достоинствах своей второй дочери, Карлотты.

Девушка скоро вернулась: она была одета во вкусе своей старшей сестры, – в яркое и нелепое платье.

Мать оглядела ее с ног до головы, нашла, что все в порядке, и сказала нам:

– Ну, теперь ступайте, дети мои!

Потом обратилась к дочери:

– Смотри, только не возвращайся позже десяти часов; ты ведь знаешь, что дверь заперта.

Карлотта ответила:

– Не беспокойся, мама!

Она взяла меня под руку, и мы пошли с ней бродить по улицам, как в прошлом году с ее сестрой.

К завтраку я вернулся в гостиницу, потом повез мою новую подругу в Санта-Маргарета, повторяя мою последнюю прогулку с Франческой.

А вечером она не вернулась домой, помня, что дверь после десяти часов была, наверно, заперта.

И в течение двух недель, бывших в моем распоряжении, я гулял с Карлоттой по окрестностям Генуи. Она не заставила меня пожалеть о своей сестре.

Я покинул ее в день своего отъезда всю в слезах, оставив подарок для нее и четыре браслета для матери.

В ближайшие дни я собираюсь снова съездить в Италию и с некоторым беспокойством, но и с надеждой думаю о том, что у г-жи Рондоли есть еще две дочери.

* * *

[1] Перевод А. Худадовой.

[2] Не понимаю (итал.).

[3] Ничуть, нет (итал.).

Новелла печаталась в «Эко де Пари» с 29 мая по 5 июня 1884 года.

Ги де Мопассан. Собрание сочинений в 10 тт. Том 3. МП «Аурика», 1994

Перевод Е. Брук. Neкаýalar